

*Эта книга не обвинение и не исповедь.
Просто попытка рассказать о поколении,
загубленном войной, хотя оно и избежало ее
снарядов.*

I

Мы стоим в девяти километрах от фронта. Вчера нас сменили, и теперь, набив желудок белыми бобами с говядиной, все сыты и довольны. Каждый сумел даже запастись на вечер полным котелком и вдобавок получить двойной паек колбасы и хлеба, а это уже кое-что. Давненько такого не бывало: красномордый кашевар предлагает жратву; каждого, кто проходит мимо, подзывает взмахом черпака и накладывает щедрю порцию. Он в полном отчаянии, потому что знать не знает, как бы опорожнить походную кухню. Тяден и Мюллер раздобыли несколько умывальных тазиков, и он наполнил их вровень с краями, про запас. Тяден поступает так от ненасытности, Мюллер — из осторожности. Куда у Тядена все это девается, для всех загадка. Он был и остается тощим как селедка.

Но самое главное — двойной паек курева. По десять сигар, два десятка сигарет и две пачки жевательного таба-

ку на каждого, очень даже прилично. Свой жевательный табак я выменял у Качинского на сигареты, стало быть, теперь у меня их четыре десятка. Пока что хватит.

Вообще-то подобная роскошь нашему брату не положена. У армии не настолько широкая натура. Нам повезло по ошибке.

Две недели назад мы выдвинулись на передовую, пришел наш черед. На нашем участке было довольно спокойно, и ко дню нашего возвращения каптенармус получил обычное количество продовольствия, в расчете на роту численностью полторы сотни человек. Однако в самый последний день мы угодили под неожиданно мощный обстрел длинноствольных и крупнокалиберных орудий, английская артиллерия непрерывно лупила по нашим позициям, так что в итоге потери оказались очень велики и вернулось нас всего восемьдесят человек.

В расположение мы прибыли ночью и сразу повалились на койки, чтобы первым делом как следует выспаться; ведь Качинский прав: все бы ничего, и войну стерпеть можно, кабы только побольше спать. На передовой не поспишь, а четырнадцать дней всякий раз долгий срок.

Уже настал полдень, когда первые из нас выползли из барakov. Через полчаса, подхватив котелки, все собрались у походной кухни, от которой шел густой сытный запах. Впереди, конечно, самые голодные: малыш Альберт Кропп, самый ясный ум среди нас и оттого только ефрейтор; Мюллер-пятый, который таскает с собой школьные учебники, мечтает о досрочных экза-

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

менах и под ураганным огнем зубрит физические законы; Леер, который отпустил окладистую бороду и обожает девиц из офицерских борделей, он клянется, что армейским приказом их обязали носить шелковые сорочки и мыться перед приемом гостей от капитана и выше; четвертый — я, Пауль Боймер. Всем четверым по девятнадцать лет, все четверо пошли на войну из одного класса.

Прямо за нами наши друзья. Тьяден, тощий слесарь, наш ровесник, величайший обжора во всей роте. Садится есть стройный, а встает пузатый, как беременный клоп; Хайе Вестхус, того же возраста, рабочий-торфяник, который спокойно может взять в руку буханку хлеба и спросить: Отгадайте-ка, что у меня в кулаке! Детеринг, крестьянин, думающий лишь о своем хозяйстве да о жене, и, наконец, Станислаус Качинский, старший в нашем отделении, упорный, хитрый, пройдошливый, сорока лет от роду, с землистым лицом, голубыми глазами, сутулыми плечами и поразительным чутьем к опасности, хорошей жратве и теплым местечкам.

Наше отделение возглавляло очередь к походной кухне. И мы начали терять терпение, ведь ничего не подзревающий кашевар по-прежнему выжидал. В конце концов Качинский крикнул ему:

— Открывай харчевню, Генрих! Бобы-то давно готовы.

Тот лениво покачал головой:

— Сперва здесь должны быть все до единого.

— Мы все здесь, — ухмыльнулся Тьяден.

Унтер-офицер еще не понял:

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

— Как бы не так! Где остальные?

— Этих нынче кормишь не ты! Полевой лазарет и братская могила.

Кашевара это известие подкосило. Он аж пошатнулся.

— А я-то на сто пятьдесят человек наготовил.

Кропп ткнул его под ребра.

— В таком разе мы наконец наедемся досыта. Давай приступай!

Внезапно Тьядена осенило. Острое мышинное лицо форменным образом засияло, глаза хитро сузились, щеки задергались, он шагнул ближе:

— Слышь, приятель, значит, ты и хлеба получил тоже на сто пятьдесят человек, да?

Унтер кивнул, уныло, с отсутствующим видом. Тьяден сгреб его за грудки:

— И колбасы тоже?

Красномордый опять кивнул.

Челюсти у Тьядена заходили ходуном:

— И табаку?

— Да. Все на полный состав.

Тьяден с сияющим видом огляделся по сторонам:

— Черт подери, вот повезло так повезло! Ведь это же все теперь нам! Каждый получит... погодите... действительно, двойной паек!

Однако ж красномордый очухался и объявил:

— Так не пойдет.

Но тут и мы все оживились, подступили ближе.

— Почему не пойдет, порей несчастный? — спросил Качинский.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

— То, что рассчитано на сто пятьдесят человек, на восемьдесят не пойдет.

— Ну, это мы тебе продемонстрируем! — рявкнул Мюллер.

— Еду я раздам, только ровно восемьдесят порций, как положено, — уперся кашевар.

Качинский разозлился:

— Пожалуй, пора бы тебя заменить, а? Продовольствие ты получил не на восемьдесят человек, а на вторую роту, и точка. И раздашь его! Вторая рота — это мы.

Мы приперли кашевара к стенке. Все его недолюбливали, по его вине питание несколько раз доставляли нам в окопы с большим опозданием, совсем холодное, потому что при малейшем обстреле он со своей кухней боялся подъехать поближе и наши подносчики поневоле проделывали куда более долгий путь, чем подносчики из других рот. Бульке из первой роты намного лучше. Хоть и толстый, как хомяк зимой, он в случае чего сам тащил фляги до переднего края.

Мы здорово распалились, и не миновать бы потасовки, если бы не подошел наш ротный. Он поинтересовался, о чем свара, и сперва только сказал:

— Н-да, потери вчера были большие... — Потом заглянул в котел. — Недурственные бобы как будто.

Красномордый кивнул:

— С салом и мясом.

Лейтенант посмотрел на нас. Знал, о чем мы думаем. Он вообще много чего знал, ведь возмужал среди нас, а пришел в роту унтер-офицером. Он еще раз приподнял крышку котла, понюхал и, уходя, сказал:

— Принесите и мне тарелочку. И раздать всё. Нам не повредит.

Красномордый стоял как дурак. Тьяден приплясывал вокруг него.

— Нечего жмотничать! Можно подумать, он тут главный интендант. Приступай, жирнюга, да смотри не обсчитайся...

— Чтоб ты подавился! — прошипел кашевар. Он растерял свой гонор, подобное не укладывалось у него в голове, весь мир перевернулся. И словно желая показать, что теперь ему все без разницы, добровольно выдал нам еще и по полфунта искусственного меда.

День нынче вправду хороший. Даже почта пришла, почти у каждого несколько писем и газеты. Мы не спеша идем на лужайку за бараками. Кропп тащит под мышкой круглую крышку от бочонка с маргарином.

Справа на краю лужайки сооружен большой нужник, солидная крытая постройка. Но она для новобранцев, которые еще не научились извлекать удовольствие из чего угодно. Мы выискиваем кое-что получше. Для той же цели повсюду расставлены еще и кабинки на одного. Прямоугольные, чистые, целиком из дерева, закрытые со всех сторон, с безукоризненно удобным сиденьем. По бокам приделаны ручки, так что кабинки можно переносить.

Мы сдвигаем в кружок три штуки и располагаемся поуютнее. Ближайшие два часа с места не поднимемся.

Помню, как в казарме мы, новобранцы, поначалу стеснялись ходить в общий нужник. Дверей там нет,

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

двадцать человек сидят рядом, как в поезде. Всех можно окинуть одним взглядом, ведь солдат должен постоянно быть под надзором.

С тех пор мы научились многому, не только перевозомгать пустяковый стыд. Со временем наторели и кое в чем другом.

Но это вот здесь прямо-таки наслаждение. Уж и не знаю, почему раньше мы всегда непроизвольно стеснялись подобных вещей, ведь они не менее естественны, чем еда и питье. Пожалуй, и не стоило бы о них особо распространяться, если бы они не играли для нас столь существенной роли и именно нам были в новинку — остальные давным-давно считали их обычным делом.

Собственный желудок и пищеварение знакомы солдату ближе, чем любому другому человеку. Он лишен трех четвертей своего словарного запаса, и выражения высочайшей радости и глубочайшего возмущения получают у него ядреную окраску. Иным способом высказаться четко и ясно невозможно. Наши семьи и наши учителя здорово удивятся, когда мы придем домой, но здешний универсальный язык именно таков.

По причине своей принудительной публичности все эти процессы вновь обрели для нас невинный характер. Более того, они настолько естественны, что удобное их отправление ценится наравне, ну, скажем, с красиво разыгранным уверенным большим шлемом без четверок. Недаром для всякой болтовни придумали название «сортирный треп»; в армии только в таких местах и можно потрепаться да посплетничать, как в кафе или в пивнушке за столом завсегдаев.

ЭРИХ МАРИЯ РЕМАРК

Сейчас мы чувствуем себя вольготней, чем в каком-нибудь роскошном белокафельном заведении. Там лишь гигиенично, а у нас здесь — красиво.

Чудесно бездумные часы. Над нами — голубое небо. У горизонта висят ярко освещенные желтые привязные аэростаты и белые облачка зенитных выстрелов. Порой они снопом устремляются ввысь, преследуя самолет.

Глухой рокот фронта долетает до нас как очень далекая гроза. Шмели, гудящие поблизости, заглушают канонаду.

А вокруг раскинулся цветущий луг. Покачиваются нежные травинки, порхают бабочки-капустницы, парят на теплом мягком ветерке бабьего лета, мы читаем письма и газеты, курим, снимаем шапки, кладем их рядом, ветер раздувает волосы, играет словами и мыслями.

Три кабинки среди ярко-красных маков...

Мы устраиваем на коленях крышку от бочонка с маргарином. На ней хорошо играть в скат. Кроп захватил с собой карты. После каждого открытого мизера — распасовка. Так бы и сидел тут целую вечность.

От бараков доносятся звуки гармоники. Временами мы откладываем карты, смотрим друг на друга. Тогда кто-нибудь говорит: «Ребята, ребята...» или «Могло бы и плохо кончиться...», и на миг мы погружаемся в молчание. Нас охватывает сильное затаенное чувство, его испытывает каждый, и оно не нуждается в избытке слов. Ведь мы были на волосок от гибели, еще бы чуть-чуть — и не сидели бы сегодня здесь, на этих стульчаках. Потому-то сегодня все так ново и ярко — красные маки и хорошая еда, сигареты и летний ветер.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

— Кто-нибудь из вас успел повидать Кеммериха? — спрашивает Кропп.

— Он лежит в Святом Иосифе, — говорю я.

Мюллер считает, что у Кеммериха сквозное ранение в бедро, а это неплохой шанс вернуться домой.

Мы решаем после обеда проведать его.

Кропп достает письмо:

— Вам привет от Канторека.

Мы смеемся. Мюллер бросает сигарету, говорит:

— Хотелось бы мне, чтоб он был здесь.

Канторек был у нас классным наставником, строгий, маленький, в сером сюртуке, с острым мышинным лицом. По комплекции примерно как унтер-офицер Химельштос, «ужас Клостерберга». Кстати говоря, забавно, что мировые беды зачастую случаются из-за малорослых людей, они намного энергичнее и неуживчивее, чем высокие. Я всегда остерегался попадать под начало маленьких ротных, обычно они жуткие живодеры.

На уроках гимнастики Канторек до тех пор произносил перед нами речи, пока весь класс под его водительством в полном составе не отправился в окружное военное управление и не записался добровольцами. По сей день воочию вижу, как он, сверкая глазами сквозь очки, взволнованно вопрошал: «Вы тоже с нами, товарищи?»

У этих наставников волнение обычно наготове, что называется, в жилетном кармане, да и раздают они его поурочно. Правда, тогда мы об этом еще не задумывались.

Один из нас, впрочем, сомневался и не слишком горел желанием идти добровольцем. Йозеф Бем, толстый добродушный парень. Но в конце концов поддался на уговоры, ведь иначе бы навлек на себя позор. Вероятно, и еще кое-кто думал так же, как он, однако по-хорошему не выкрутишься, в то время даже у родителей слово «трус» с языка не сходило. Никто же понятия не имел, что началось. Проницательнее всех, по сути, оказались люди бедные и простые, они изначально восприняли войну как бедствие, а вот более обеспеченные себя не помнили от радости, хотя они-то могли бы скорее уяснить себе последствия.

Качинский утверждает, что виновато образование, от него-де глупеют. А Кач говорит только то, что хорошо обдумал.

Странным образом Бем погиб одним из первых. При штурмовой атаке получил пулю в глаза, и мы оставили его, решив, что он убит. Забрать его с собой мы не сумели, так как отступали в спешке. Но под вечер вдруг услышали его крики и увидели, как он там ползает. После ранения он просто потерял сознание. А теперь, поскольку ничего не видел и обезумел от боли, не использовал укрытия, и с той стороны его расстреляли еще прежде, чем нам удалось его вытащить.

Канторек тут, конечно, ни при чем, — что станется с миром, если уже это называть виной? Таких Канторек-ков тысячи, и все они твердо убеждены, что на свой лад усердно делают все возможное.

Но для нас в этом-то и заключается их несостоятельность.

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

Нам, восемнадцатилетним, они бы должны были стать посредниками, проводниками во взрослый мир, мир труда, долга, культуры и прогресса, в будущее. Порой мы их высмеивали, устраивали мелкие проказы, но, в сущности, верили им. С идеей авторитета, носителями которой они были, связывались в нашем представлении глубокая проницательность и гуманные взгляды. Но первый же увиденный нами убитый разрушил эту веру. Мы не могли не признать, что наше поколение честнее их; они превосходили нас только фразерством и ловкостью. Первый же ураганный обстрел продемонстрировал нам нашу ошибку, в клочья разнес мировоззрение, какому нас учили они.

Они еще писали и произносили речи, а мы видели лазареты и умирающих; они называли служение государству самым главным, а мы уже знали, что смертельный страх сильнее. Однако страх не сделал нас ни бунтарями, ни дезертирами, ни трусами — они-то с легкостью сыпали этими выражениями, — мы любили родину, как и они, и всегда храбро шли в атаку; но теперь мы прозрели, вмиг научились видеть. И увидели, что от их мира не осталось ничего. Внезапно мы оказались в страшном одиночестве — и должны были справляться с ним в одиночку.

Перед тем как отправиться к Кеммериху, мы собираем его вещи, в дороге они ему пригодятся.

В полевом лазарете царит суматоха; как всегда, пахнет карболкой и потом. В казармах ко многому привы-

каешь, но здесь все равно любого в два счета замутит. Мы выпрашиваем, как найти Кеммериха; он лежит в зале, и при виде нас на его лице слабо проступает выражение радости и беспомощного волнения. Пока он был без памяти, у него украли часы.

Мюллер качает головой:

— Я же говорил, незачем брать с собой такие хорошие часы.

Мюллер несколько неотесан и категоричен. Иначе бы промолчал, ведь каждому видно, что из этого зала Кеммерих уже не выйдет. Отыщутся ли его часы, значения не имеет, разве что можно будет отослать их домой.

— Как дела, Франц? — спрашивает Кропп.

Кеммерих опускает голову.

— Да ничего... только вот нога чертовски болит.

Мы смотрим на одеяло. Его нога накрыта проволочной корзиной, одеяло лежит на ней горой. Я пинаю Мюллера по щиколотке, ведь с него станется сказать Кеммериху то, что мы успели узнать в коридоре от санитаров: у Кеммериха больше нет ноги. Ее ампутировали.

Выглядит он ужасно, желтый, землисто-бледный, в лице уже проступили чужие черты, прекрасно нам знакомые, потому что мы видели их сотни раз. Собственно, это не черты, скорее знаки. Под кожей более не пульсирует жизнь, ее вытеснило на грань тела, изнутри пробивается смерть, глаза уже в ее власти. Вот лежит наш товарищ Кеммерих, который совсем недавно жарил с нами конину и сидел в секрете, он пока тот же и

НА ЗАПАДНОМ ФРОНТЕ БЕЗ ПЕРЕМЕН

все-таки не тот, его образ расплылся, потерял четкость, как фотопластинка, на которую сняли два кадра. Даже голос его звучит словно пепел.

Мне вспоминается наш тогдашний отъезд. Мать Кеммериха, добродушная толстуха, провожала сына на вокзал. Она все время плакала, от слез лицо отекло и опухло. Кеммерих стеснялся ее, ведь все, кроме нее, хоть как-то сдерживались, а она совершенно раскисла. При том выбрала меня, поминутно хватала за плечо и умоляла присмотреть за Францем. Кстати, лицо у него было совершенно детское, а кости до того мягкие, что, прохив месяц с ранцем за спиной, он уже заработал плоскостопие. Но как присмотришь за кем-либо на войне!

— Теперь домой поедешь, — говорит Кропп, — а отпуска пришлось бы дожидаться еще месяца три-четыре.

Кеммерих кивает. Сил нет смотреть на его руки, они будто восковые. Под ногтями окопная грязь, иссиня-черная, как отравы. У меня вдруг мелькает мысль, что эти ногти, как зловещие подземные растения, будут расти еще долго после того, как Кеммерих перестанет дышать. Так и вижу перед собой картину: ногти закручиваются штопором, растут и растут, а с ними растут волосы на распадающемся черепе, словно трава на доброй почве, точь-в-точь словно трава, как же такое возможно?..

Мюллер наклоняется:

— Мы принесли твои вещи, Франц.

Кеммерих жестом показывает:

— Положите под койку.

Мюллер так и делает. Кеммерих опять заводит про часы. Как бы его успокоить, не вызывая подозрений?!